

Затписки
МОНАХИНИ
ОЛИМПИАДЫ



Марина Константинова
Записки монахини Олимпиады

«Сибирская Благовонница»

2004

Константинова М. Е.

Записки монахини Олимпиады / М. Е. Константинова —
«Сибирская Благовонница», 2004

ISBN 978-5-91362-062-0

Монахиня Алатырского Свято-Троицкого монастыря рассказывает о своем пути к вере в советский период — от театроведческого факультета ГИТИСа до православного монастыря. В канве ее яркого повествования — известные духовники нашего времени: архим. Иероним (Шурыгин), прот. Владимир Волгин, архим. Тихон (Шевкунов). "Я жила в хорошей квартире, где у меня была своя комната, с родителями и бабушкой, которые меня любили, по-своему, до безумия. Мне не нужна была их любовь. Я хотела любви необычайной и была одинока бесконечно. И вот отчаяние достигло высшей точки - я решила не жить. Я сидела у себя в комнате, за стеной работал телевизор, тихо переговаривались родители, а я ждала смерти, я хотела не быть. Готова была на что угодно, только бы уйти от этой моей окаянной жизни. И я готова была уйти из всякой жизни, не думая о том, что меня ждет за порогом смерти. Я думала, что могу распоряжаться своей жизнью, что она - моя, только моя. Я не признавала долга или обязанностей перед кем бы то ни было. Мне было больно, невыносимо больно жить, душно, тошно, тоскливо, омерзительно."

ISBN 978-5-91362-062-0

© Константинова М. Е., 2004
© Сибирская Благовонница, 2004

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Записки монахини Олимпиады | 6 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 17 |

Марина Константинова

Записки монахини Олимпиады

Сибирская Благовонница

* * *

Записки монахини Олимпиады



...Сейчас это свершится, и я перестану страдать. Я все продумала, я даже горжусь тем, как я все хорошо продумала: принять пузырек лекарства, выйти на балкон и – вниз. И конец. Зачем мне жить?

Как собачонка, брошена
На улице зимой,
Под снежной порошею
Со сломанной ногой...

Я тогда писала такие стихи. Это было мое отчаяние. Я жила в хорошей квартире, где у меня была своя комната, с родителями и бабушкой, которые меня любили, по-своему, до безумия. Мне не нужна была их любовь. Я хотела любви необычайной и была одинока бесконечно. И вот отчаяние достигло высшей точки – я решила не жить. Я сидела у себя в комнате, за стеной работал телевизор, тихо переговаривались родители, а я ждала смерти, я хотела не быть. Готова была на что угодно, только бы уйти от этой моей окаянной жизни. И я готова была уйти из всякой жизни, не думая о том, что меня ждет за порогом смерти. Я думала, что могу распорядиться своей жизнью, что она – моя, только моя. Я не признавала долга или обязанностей перед кем бы то ни было. Мне было больно, невыносимо больно жить, душно, тошно, тоскливо, омерзительно.

Кто мне указ? Я сама себе была указ, и свобода моя была произволом существа, жившего для себя и неизбежно потерявшего смысл такой жизни. Я отрицала Бога своей жизнью, даже не будучи атеисткой, будучи безбожницей. Вот почему я не думала о том, что ждет меня там, и сама себе дала разрешение на выход из жизни. Я не отрицала Бога, я просто Его небрежно не замечала, будучи замкнута сама на себя. Я оплакивала в стихах свою ненужную жизнь, а Господь милосердный караулил момент, чтобы обрести заблудшую овцу. Он мог сотворить чудо – явное, громкое, эффектное, чтобы я поверила и отказалась от своего замысла. Но Он был скрыт до поры и послал мне вестницу – ею оказалась мама. Ее жизнь тоже была лишена Бога, потому она не могла спасти меня, но Господь избрал ее орудием милосердия, потому что она была моя мать – человек, ближайший в мире к своему ребенку, любому – больному, падшему, заблудшему, нелюбящему. У нее было материнское сердце, и оно не могло не любить свое дитя больше самой себя. И потому это она второй раз даровала мне жизнь, тихо войдя

в мою комнату и спросив, почему я не заканчиваю статью, которая была у меня в тот момент в работе. Она присела у моего стола и увидела мою записку – я же знала, что надо написать последние слова. Слова были сухими, но от них веяло безнадежностью. Нет, мама не кричала и не плакала, я даже не помню, что она сказала. И я вдруг почувствовала запрет. Этого нельзя! Просто нельзя – и все!

Объяснение я нашла не сразу, а тогда был только запрет. Господь остановил меня на грани ада. Я больше ничего не помню о том вечере, кроме того, что в моем воспаленном мозгу возник этот ясный, повелительный запрет. «Ты обязана жить!» – сказали мне. Кто? Я, Марина, не знала тогда.

* * *

...Я стою в храме Свято-Троицкого монастыря в городе Алатыре в Чувашии. Я – монахиня Олимпиада, грешная и недостойная. Вот сейчас, кажется, голова болит меньше и можно сесть, чтобы ноги не так ломило. Вот нерадивая, вот ленивая, недаром над тобой все смеются. Я – православная монахиня. Это счастье, что Господь призвал меня, а я ропщу и падаю на каждом шагу. Но в храме я счастлива, здесь меня окружает святость, воздух светится благодарью. Каждая свечка сгорает от счастья быть здесь и истаять здесь до конца. Как бы уподобиться этой свечке и сгореть от любви к Господу, милосердно терпящему меня и беспрестанно помогающему мне! Как бы сгореть от благодарности Ему за то, что милости Его бесконечны... Я – паршивая овца, но Он допустил меня до монашества и не препятствует мне стоять в этом чудном храме, где я столько раз плакала от счастья.

Где мое прошлое? На него дохнул Господь, и его больше нет. Я стою в храме, а эти службы длятся и длятся, разнообразные и переливающиеся, как драгоценные камни... Да, память прошлого во мне осталась и мучит меня, когда я здесь, среди святых и святынь. Это возмездие, это эпитимия Божия, крест, который надо нести с любовью и благодарностью, не как заслуженную кару – заслужила я куда худшее – а как наказание Родного Отца, Который признал меня Своей, пустил меня к Себе, блудную и окаянную дочь, которую Он любит за что-то и прощает по великой Своей милости. У меня тут все есть для счастья, я живу среди Небесного богатства Православия и в надежде войти в Царство Небесное.

Может быть, мне уже недолго осталось быть здесь, но дел покаяния у меня еще много. Хоть и прощает Господь, но еще многое отмолить надо, в том числе и тот вечер отчаяния моего, когда я хотела отказаться быть. И никогда бы я не стояла в храме, не слышала этих песнопений, не переживала молитвенно Божественную Литургию и не подошла бы к Чаше, чтобы через Причастие соединить свою бедную душу с богатством неисчерпаемым Божества. И это все мне! Мне, такой, какая я есть. Боже, за что? Я таю от Твоих милостей, мое сердце без условий предано Тебе – и все же грешу и грешу каждый день. Но я не уйду из Твоего Храма. Я буду стоять здесь и буду надеяться несмотря ни на что. Ты столько сделал для меня...

Я стою в храме. Идет служба...

* * *

Я родилась в семье, где не знали Евангелия. У нас дома его не было. Но как же – не знали? Бабушка кончала русскую гимназию, где не могли не изучать Закон Божий. Отец еще успел застать эти уроки, и это осталось в нем навсегда – то и дело он произносил без видимой причины отдельные выражения Евангелия, употреблял обороты славянской речи. Но я не понимала их, а он не объяснял... Необходимость веры он обосновывал тем, что человек не может поверить в то, что его когда-то не станет совсем. Сам он в загробную жизнь не верил. Ох, родной мой, что же ты наделал из одного страха перед безбожной властью!

Мама говорила, что ее бабушка водила в детстве в церковь, но ей это было неинтересно и скучно. Кроме того, она любила упомянуть, что «не любит попов». Я как-то, еще до обращения, спросила – почему? «Вот, когда умерла бабушка, мы вызвали попа на дом ее отпеть, потом дали ему денег, и он сказал, что мало». Как значимо каждое слово священника! А вот бабушка двадцать лет прожила при царской власти, но как-то скоро все забыла и стала совслужашей.

В этой семье, когда родилась я в 1947 году, меня, естественно не крестили. Правда, Пасху мы «справляли», т. е. делали настоящую, в форме, с буквами ХВ очень вкусную пасху и пекли куличи, в которых бабушка была весьма искусна, – рецепт куличей она не забыла. Что означал этот праздник, я не знала. Слова «Христос воскрес» произносились иронически, и меня не занимал вопрос, что это значит. Но это в раннем детстве, а потом, с переездом на новую квартиру, пасечная форма куда-то делась, пасху делать перестали и праздновать перестали.

Вообще праздники у нас в семье не получались, даже такие интимные, как день рождения, день свадьбы родителей. Обычно бывал обед с вином и закусками, пекли пироги и сладкий «королевский» торт, но все это никого не радовало. Мама всегда ворчала, что вино опять «жжена пробка», отец огорчался, обижался, выглядел жалким. Мне всегда было его жалко. Однажды я вычистила его чернильный прибор, тайно от всех и со слезами, хотя отец не был лишен женской заботы – его обстирывали, кормили, но главой семьи он не был никогда, все решала мама.

Я помню, что по воскресеньям у нас всегда была генеральная уборка комнат (мы занимали две комнаты в большой московской «коммуналке»). Эту уборку все не любили, и мама ходила со сжатыми губами, в незастегнутом халате, с пыльной тряпкой в руках и с бигуди в волосах, а отец – в пижамных брюках – ходил покорно за ней и вытирал «верха». Все это происходило как раз во время литургии, но у нас о смысле Воскресения никто не вспоминал. Не говоря уже о других церковных праздниках, о которых просто никто не помнил, словно их никогда и не было, хотя еще долго пекли куличи, так уж по обычаю.

Однажды в юности я «справляла» Пасху так: куличи были испечены в субботу, но я знала, что разговляются после 12 часов ночи, и вот в 12 часов я пришла в кухню, открыла накрытые полотенцем куличи и перед тем, как начать есть, посмотрела в окно – была тихая весенняя ночь, никакого чуда я в ней не заметила, но поняла печально, что это я не замечаю, а для кого-то, кто живет иначе, чем я, оно есть. А для меня нет, меня его лишили. Тоска опустилась на меня, и тупое отчаяние воцарилось во мне. Я тихо сжевала кусок кулича и пошла спать в этом сознании окраденности своей жизни.

* * *

...Господь потихоньку подступал ко мне, конечно, никогда не упускал из вида, хранил и вел по моей непроторенной дорожке – к Себе... В двадцать лет мне дали Библию, старую, рваную книгу без начала и конца. Так, начала, сотворения мира, грехопадения я не читала, а читала непонятные имена и события, без указания дат и знакомой географии, как я привыкла в современных книгах. Мне было скучно, и я прочла мало. Через год мне дали в руки Евангелие – я прочла все, внимательно, с интересом, с какой-то странной полуверой, как верят в литературного героя, заметила некоторые политические мотивы и выписала: «Блаженны изгнанные правды ради...» и «люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их злы». Что ж, я оказалась верной своим родным 60-м годам с их напыщенной диссидентщиной. И потому открытия Евангелия не произошло. К Истине я не пробилась через книги, я платила за нее жизнью. И пройти мне надо было еще долгий путь до купели крещения.

...Искусство было тем идеальным миром, куда стремилась моя душа с детства, всегда неудовлетворенная настоящим. Мне всегда было мало «здесь и сейчас», я стремилась в иной, лучший мир и, не зная Бога, попала в объятия идола Аполлона, поклоняясь красоте и вымыш-

ленной возвышенности мира искусства. Но тут меня караулило бесовское искушение, которое набросилось на меня с детства, пользуясь моим духовным одиночеством и верой в красоту. Я была художником с дошкольного возраста, только это было особое художество – игра в лучший мир. На моей гордыне бес играл наверняка, – и вот я стала воображать себя сверхисключительной личностью, обладающей красотой и всеми возможными талантами. Я помню, как в шесть лет я воображала себя капитаном корабля, в зрелом возрасте – балериной, актрисой. Тут уж были не просто проигранные про себя эпизоды, а целый мир, от которого я не отрывалась ни на день. «Там» я была гениальна, известна всему миру, с роковой любовью, смертью возлюбленного и новыми романами, со своей трагедией. Меня окружали восторженные поклонники, прототипами которых были известные актеры, поэты, режиссеры, балетмейстеры. Это не был мир абсолютного счастья – я не могла его вообразить, в этом мире у меня было много проблем, бед, на меня клеветали, но я выходила всегда победительницей. В этом мире я жила полной жизнью, радовалась, страдала. Он был неотделим от театра. И там я была актрисой и в реальности хотела стать актрисой, чему воспрепятствовали мои дефекты речи. После одной неудачной попытки поступить в студию художественного слова я поплакала и как-то легко отказалась от этой мечты, оставив себе актерскую профессию в моем выдуманном мире. Мне ничего не стоило сочинить сцену, диалог, проиграть про себя целую ситуацию, которой хватило бы на роман или пьесу.

Я невольно сравнивала этот мир и тот, в котором жила в реальности, и постепенно понимала, что я в этом реальном мире не живу, а только внешне существую. Что бы ни случилось радостного, это была «не та» радость, «не та» полнота. Я жила в воображаемом мире, отделенная роковой чертой от людей, из которых никто не был мне по-настоящему близок. Я была и есть необщительна и молчалива. В школе надо мной смеялись, смеялись и позже, и я утешалась тем, что «они» не знали, какая я в «своей» реальности. Один мой знакомый посвятил мне стихотворение, в котором назвал «монашкой» – я удивилась и забыла об этом. Какая там монашка, когда бес только что привел меня в «храм» искусства – театр, где я и провела большую часть своей жизни.

Я стала учиться на театроведческом факультете ГИТИСа. И одним из первых «научных» откровений в курсе истории зарубежного театра был гомосексуализм, который преподавался нам объективно как историческая реальность Греции. Правда, наш преподаватель, Симон Маркиш, сын известного репрессированного еврейского поэта Переца Маркиша, был настолько эрудирован, что начал курс древней литературы с Библии. Лучше бы он этого не делал. Читать лекции он не умел, преподавать не любил. Библия была для него, атеиста и националиста, эпосом еврейского народа, эпосом, в который он не верил. Какие уж тут чудеса, какое сотворение мира, а книгу Иова он просто назвал богоборческой. Этот эрудит не мог принести нам Бога, как и другой – преподаватель истории русского театра профессор Б. Н. Асеев, человек сухой и нетворческий.

Ярче всех был, конечно, Григорий Нерсесович Бояджиев, армянин с горящими черными глазами, который читал историю средневекового театра и Возрождения, но, Боже мой, для этого жизнелюба Средние века с их аскетизмом, ущемлением плоти и стремлением к духу были мрачной эпохой плохих пьес, единственную радость которой составлял карнавал и народные пьески-пасторали. Вырвавшись из узкого пути Средних веков на широкие океанские просторы Возрождения, Бояджиев становился вдохновенным поэтом гуманизма. Оставляя в стороне сомнительную философию Ренессанса, он воспевал, как последний трубадур, Ромео и Джульетту, Отелло и короля Лира, Сиды и комедии Мольера.

Неудивительно, что его увлекательные лекции покорили меня и определили мою судьбу – я стала специализироваться по истории зарубежного театра, только я выбрала Францию XVII века и диплом посвятила Расину, чем вызвала искреннее удивление декана факультета, которая заботливо спросила меня, понизив голос: «И на что Вам этот Расин сдался?»

Поэт долга, Расин покори́л меня, и я тихо смирялась вместе с Вереникой перед государственной мощью Римской империи и осуждала незаконную страсть Федры.

Была у меня и другая творческая мечта – Альфред де Мюссе, которую я робко высказала Бояджиёву, когда обсуждалась тема моей диссертации. Он легко согласился, и я могла исполнить свой долг перед памятью своего идола и кумира многих лет – Жерара Филипа.

Я, конечно, знала о нем как о знаменитом актере еще при его жизни, но потрясла меня его смерть через несколько лет после самого факта, когда я несколько подросла и прочла о нем книгу воспоминаний его друзей. Я восприняла эту смерть как вопиющую несправедливость, как «небрежность парки» (так я тогда писала). Я сочиняла гекзаметры на его смерть. Моя безысходная, подчеркнутая печаль и тоска были неосознанным вызовом Провидению, как известно, все устрояющему премудро. Но мне тогда это было неизвестно, в будущую жизнь в христианском смысле я не верила, поэтому смерть была безысходным концом, краем, за которым бездна... Я торжественно обставляла, можно сказать, праздновала дни его смерти, писала в дневнике душераздирающие фразы, на людях демонстративно молчала и всем своим видом выражала горе – так, чтобы заметили и спросили, а когда спрашивали, отвечала только, что, де, что-то случилось у меня.

Жерар умер в 37 лет, и вот я составляла список выдающихся людей, умерших в этом возрасте. Мне так хотелось отрицать смерть, но я не знала, что можно против нее сделать – человек тут бессилён, а о Боге я не думала. Вся эта история была поиском выхода из смерти, а не поклонением ей. Я оживляла в памяти человека, которого никогда не видела, и тайно посвятила ему свою диссертацию о Мюссе, в пьесах которого Жерар Филип, по всеобщему мнению, был так великолепен. Но я любила Мюссе и особой интимной любовью, безумно жалела его за несчастную духовную судьбу и искала причин его краха, его фиаско перед жизнью, в которой ему так много было дано.

И тут уж дело было не в любви к памяти Жерара Филипа – она потихоньку как-то сама угасла, продлившись несколько лет. Дело было в том, что я стала искать причины внутренней трагедии романтиков и романтизма и пришла к выводу, что эти причины лежат в их крайнем индивидуализме, замкнутости на себя и неумении понять мир, возвыситься до идеи Бога как Существа Высшего и Спасающего.

Жалкие стихи Мюссе о том, что он «опоздал прийти в сей слишком старый мир», его величание себя «сыном века» вызывали сострадание, но одновременно я стала понимать, что, борясь с отчаянием романтиков, я боролась со своим романтическим индивидуализмом и страстно хотела найти среди брэнности «незыблемое что-то, что б не могло уйти, рассыпаться, утечь, чего вовек нельзя ни утопить, ни сжечь» (М. Онин). Это был поиск на бумаге, но я всегда доверяла ей самое главное в моей жизни. Я добилась того, что внутренне от романтиков отошла, «незыблемое что-то» оставалось пока туманным. Моя диссертация – это памятник моей борьбы за веру. Не случайно я ее не могла закончить до крещения, к которому я пришла неожиданно для себя, но очень закономерно, если проанализировать мои тогдашние поиски.

Но поиски были не только на бумаге, я искала всей своей жизнью, ставя иногда жестокие для моей души эксперименты. Тоска меня преследовала, и ради того, чтобы провести вечер вне дома, вне этих стен, которые источали тоску, я готова была уйти в сомнительные компании, увлекалась диссидентством, до того наигравшись, что меня однажды допрашивал сотрудник КГБ. Но это было словно не со мной, моя душа в этом не участвовала, она томилась, доводя меня до кабинета психотерапевта, который пытался меня гипнотизировать и внушить мне, что все очень хорошо.

Но мне было совсем не хорошо, это и привело к попытке самоубийства, с рассказа о которой я начала свои записки. Это было то дно, оттолкнувшись от которого я стала медленно и тяжело подниматься вверх. Господь подарил мне чудесное лето у моря, я дышала соснами и потихоньку понимала, что жизнь еще не кончена, но вот только не знала, как ее

продолжить. Было желание духовно выздороветь, и я искала лекарства духовного. Тут были и ночные поездки к бабке-травнице в Рязанскую область – до сих пор не знаю, была ли она ведьма или талантливая народная целительница. Мне, казалось, помогли эти травы, но потом бабка умерла. Появилась другая травница – московская, которая, действительно, вылечила мне щитовидку, а потом заманивала рассказами о том, как владеть своей энергетикой.

На моем столе появились книги о йоге, Рамакришне и другие, а потом возник и реальный йог-экстрасенс. Он собирал на квартире травницы десяток человек и «лечил», угадывал прежние воплощения души, открывал «окно» в космос и посылал нам оттуда энергию, «открывал» иконы и т. п. Он, без сомнения, был чародеем немалого масштаба. Что он делал с моей душой, я так и не знаю. Сейчас думаю, что принес немало зла. Однажды он исчез и больше не появлялся. По счастью, я не стала ни йогом, ни экстрасенсом, хотя он находил у меня к этому немалые способности. Книги еще долго лежали у меня на столе – выбросила я их позже, когда Господь открыл мне глаза на эту «духовность».

Поиски мои в молодости неотделимы от поиска возлюбленного, единственного, неповторимого. Притом, я почему-то всегда знала, что своей семьи, детей у меня не будет, что я обречена на одиночество. Но в 20–25 лет я ждала «его», хотела найти «его», и, мне казалось, находила, и создавала очередного кумира, и верила ему, и отдавалась чувству до конца, так что готова была отдать ему всю жизнь. Тут я очень совпала с Мариной Цветаевой, которая оказала на меня огромное влияние. Я так пишу, чтобы не сказать – я в ней увидела себя, свою мятущуюся, не знающую ограничений страстям душу. Дошло до того, что когда я хотела своему первому кумиру рассказать о своей страсти, я просто сделала композицию из стихов Цветаевой и подарила ему. Он оказался настолько безграмотен, что не понял, что это Цветаева, и подумал, что стихи написала я сама, но потом недоразумение выяснилось. Он очень восхитился стихами, но меня не полюбил. Я всегда пугала мужчин безоглядностью своей страсти, и они не решались на взаимность. Уверяли меня в том, что я умная и незаурядная женщина, но связать со мною жизнь никто не решился. Они были правы – какая я жена, я любила не человека, а свои о нем представления, и вряд ли я бы выдержала испытание бытом супружеской жизни. Я плохо понимала реальных людей, любила ради себя, не умела жертвовать, терпеть. Только спустя десятилетия я поняла, кто в реальности были мои возлюбленные, и возблагодарила Бога, что осталась одна. Как я провидчески написала еще тогда: «дождусь своей поры, устану и составюсь, не (слово забыла), не прокляну... , спокойно напишу – “Я Вас любила, Марис”».

Вот на этом имени надо остановиться, хотя это была самая вымышленная моя страсть к человеку, которого я мало знала в реальности, но душу которого постигла до клеточки на сцене. Он был актер, танцовщик, артист-умница, всегда досконально выстраивающий свои образы на сцене, так что они казались мне исповедями холодного сердца и горячего ума. Это, по сути дела, была история души, не могущей любить, но страстно стремящейся к простой человеческой любви. Он хотел быть любимым, но не умел любить, детски не понимая, что важнее второе. Он себя казнил, взывал к небу, не зная Бога и не понимая, что Он от него хочет.

Он возник в моей жизни в период, когда я только что крестилась и искала путей к Богу. Я тянулась Ему навстречу искренно, но вслепую, и тут бес уранил меня, послав мне Мариса, который стал воистину бесом-искусителем в моей жизни. Все это было как наваждение большого моего сознания, моей метавшейся в потемках души, которой только забрезжил Свет Христов... И на пути стал демон. Я так и поняла, что это демоническое искушение. Не случайно я так боялась говорить с ним о Боге, даже просто поздравить его с Рождеством казалось чем-то страшным и запретным. Я ходила на все его спектакли, посылала ему огромные букеты и записки, часто составленные из стихов, которые должны были ему намекнуть – нет, не на мою любовь, а на то, что он связан с нечистью, служит ей и что он погибнет навеки, если не уйдет отсюда, с этих подмостков. Когда я поняла, что гибель неизбежна и возврата нет, я ушла из его жизни под его недовольное ворчание обиженного кумира. Я ничего не могла сделать, у

меня были только слова, не было ни силы молитвы, ни дерзновения Орфея, спускающегося в ад за своей Эвридикой... Я продолжала следить издали за его жизнью, но только убеждалась в своей правоте и понемногу трезвела от него, и вот когда он умер, я вспомнила Пушкина – «Из равнодушных уст я слышал смерти весть и равнодушно ей внимал я». Я была на его похоронах и положила на гроб мои последние ему цветы, не уронив ни слезинки. Я бы могла, пожалуй, и не пойти на похороны, но какой-то странный долг заставил меня это сделать.

Последнее мое увлечение неотделимо от Пушкина. Рядом с этим светлым именем все светло. Юрий Авшаров был, действительно, гениальный чтец, и, увлекшись талантом, я невольно пошла по известной дороге и увлеклась человеком. Но он был женат. Раньше это обстоятельство меня нисколько бы не смутило, но теперь, после первых исповедей, я почувствовала грех и сказала его на исповеди отцу Вячеславу, который был первым моим духовником и о котором я еще расскажу. Четко и строго он мне объяснил, что это – не любовь, что любовь – это жертвенность. И вот после двух-трех исповедей мне не надо было больше об этом упоминать. Все мои романтические иллюзии насчет Авшарова ушли дымом. Происходили чудеса – этот аккуратный человек постоянно терял мой телефон, забывал свои обещания пригласить меня на спектакль, а я и не могла пойти на этот спектакль, потому что он шел по воскресеньям утром, когда я была на литургии. И так мы мирно расстались. Я напечатала о нем статью, и больше ни он, никакой другой «он» в моей жизни не появлялся.

Но как же я пришла в храм? Моя подруга позвонила поздно вечером и велела мне рано утром быть в определенном месте, не завтракая. Я догадалась, в чем дело, потому что мы с ней в последнее время вели беседы о Боге, о Евангелии, беседы, для меня мучительные, так как с моих глаз словно срывали присохшую чешую.

Заходить в церковь я боялась. И вот, когда утром (а это оказался праздник Казанской иконы Божией Матери) я переступила порог храма Илии Обыденного, я замерла у дверей, не смея идти дальше, и слезы ручьем полились из моих глаз, хотя я, естественно, не понимала ни слова из службы. Потом подруга почему-то увела меня из храма, и мы долго ходили по окрестным улицам, ожидая, когда кончится служба и я поговорю с батюшкой, который и должен меня окрестить.

Разговор со священником был короткий. Он спросил, читала ли я Новый Завет, на что я честно ответила, что Послания прочла не все. Он сказал, что во время совершения Таинства может быть что-то непонятное или странное, но что так нужно. Господи, да я готова была ко всему, я отдалась в его руки, и он совершил Таинство Крещения.

И вот я родилась вновь. Сначала я этого не почувствовала, я слишком устала, хотела спать, есть и пить. Меня не причастили, так как служба давно кончилась, и даже не предупредили, что мне необходимо причаститься в ближайшие дни. Отец Александр (не забуду его имени) благословил меня, и мы ушли. Мы пошли в дом подруги, там пообедали, и я уснула, как младенец (а младенцем я и была). Проснувшись через несколько часов, я поняла и поверила, что со мной произошло что-то очень важное, такое, чего никогда не было и не будет больше в моей жизни. Я была крещеной, я стала христианкой, я не была больше потерянном существом, у меня был Отец Небесный, у меня был Ангел-Хранитель. Это было так серьезно, что я не столько радовалась, сколько переживала торжественность и значительность этого дня.

Это был 1975 год, год для нашей Церкви тяжкий – как для верующих, так и для священников. Поэтому меня крестили по подложному паспорту, и в церковной книге нет записи о моем крещении. Прости меня, Господи, так решила подруга, а я не придавала тогда этому значения.

Откуда же все-таки у меня нашлась та первоначальная вера, без которой в Церковь не приходят? Милость Божия, звавшая меня к себе, проявляла себя через людей, и об одном из них здесь нельзя не сказать, ибо он поистине был моим мирским духовным отцом до того момента, когда передал меня духовному отцу-священнику. Да будет благословенно Ваше имя,

Валентин Семенович Непомнящий, имя, которое я так привыкла поминать в молитвах. Вы имели терпение выслушивать мой печальный лепет много лет. Много лет я приходила к Вам как к спасителю. Известный пушкинист, Вы были верующим человеком, и Ваша вера спасла меня. Скольким я Вам обязана, знает Бог, и Бог Вас на Суде вознаградит за мою душу.

По сути дела, я всегда хотела иметь духовного руководителя, старшего друга, которого я бы слушала и ему бы все рассказывала. Вначале это была моя учительница истории, наш классный руководитель, убежденная шестидесятница, которая любила говорить о духовности и любоваться старинными храмами, но к Богу так и не пришла, и, когда я воцерковилась окончательно, наша дружба как-то сошла на нет, взаимопонимание было утрачено. Когда я училась в ГИТИСе, моим наставником был один театральный критик, необыкновенный эрудит, обладающий даром слова и ни во что, кроме искусства и красоты, не веровавший. Естественно, о вере я говорить с ним не могла. Мы встречались на балетных спектаклях, пока я туда ходила, и перестали перезваниваться, когда эта единственная ниточка, нас связывающая, оборвалась.

Не то с Непомнящим. Он никогда не звал меня к себе, но я неизменно приходила – сначала – в самых тяжелых ситуациях жизни, когда мне предстоял допрос в ГБ, когда я мучилась душой и не знала, как мне исцелиться.

Однажды, еще задолго до моего воцерковления, я пришла к нему на исповедь, – иначе нельзя было назвать мой поступок, после того, как я совершила одно безнравственное действие. Я пришла к нему каяться и сказала, что я должна рассказать ему все, иначе я никогда больше не смогу прийти к нему. Я помню наш нелегкий разговор в осенний дождливый день в подворотне. Ему я была тогда неприятна, но вызвала жалость своей растерянностью и доверчивостью. С ним у меня были первые робкие разговоры о Боге – как-то сама возникла эта тема. «С сатаной шутить нельзя», – сказал он мне тогда очень серьезно. И я поверила. И еще он сказал, что если только захотеть, то доказательства бытия Божия буквально посыпятся на меня. И произошло чудо. Эти доказательства, действительно, посыпались на меня. Я ходила по московским улицам и видела все заново, – во всем был виден Творец, Всемогущий, Многомилостивый, следящий за каждым нашим шагом. Вот тогда я и крестилась.

Только через два месяца я как-то догадалась, что мне надо пойти причаститься. Пошла без подготовки, ничего не зная и имея представление об исповеди из итальянских фильмов, где католические священники задают на исповеди вопросы, на которые надо отвечать. Я потому к исповеди не готовилась, но готова была ответить на любой вопрос священника. Но он мало о чем спросил, и уж совсем наивными мне показались его краткие наставления. После этого я долго в храм не ходила.

Потом Непомнящий сказал, что надо причаститься в Великий пост. Я не постилась, но пошла и в храме остро почувствовала свою чуждость этому миру верующих людей, с таким трепетом певших «Тело Христово примите...». Мне было неловко и досадно, что я ничего не чувствую.

Вечером этого дня, чувствуя, что совершаю грех, я пошла в Дом актера на премьеру фильма-балета «Спартак», и там я поняла, в каких двух разных мирах я оказалась. И как их совместить, когда я не хотела покидать ни тот, ни другой? Мир искусства еще держал меня крепко, и с храмом связи не налаживались. Непомнящий не настаивал, а я чувствовала, как растет в душе тяга к храму, переступить порог которого мне каждый раз было так трудно. Я не понимала служб, книг тогда достать было негде. Благодаря доброте одной подруги я купила Библию, в которую иногда заглядывала, но мало понимала. У меня был и Молитвослов (мне подарили), но я не молилась. Я не могла читать молитвы не потому, что их не понимала, а как раз потому, что понимала, что при той жизни, что я тогда вела, необходимо глубочайшее покаяние. А была горда до предела. И покаяться не могла даже перед Господом.

В этих бесплодных муках прошли годы. Я готовилась писать новую книгу, которая вначале давалась мне очень нелегко, и вот тут-то Непомнящий сказал, даже велел, пойти мне на

исповедь и причастие: это много поможет мне в работе. Господи, как мне стыдно, как мне страшно признаться, что у меня была такая цель – написать свою книгу. И потому я пошла. Непомнящий велел мне пойти в будний день в ту самую церковь Илии Обыденного, где меня крестили и где я первый раз причащалась, к отцу Вячеславу. Непомнящий дал мне прочитать Чин исповеди, чтобы я знала, что говорить. Я прочла и честно выписала все грехи, которые в себе обнаружила. Вышло немало. Но я уже готова была это произнести. Я грех сознавала, хотя, думается, истинного покаяния еще не имела.

И вот я пришла к отцу Вячеславу. Это был молодой, моих лет, священник с гуманитарным образованием, пишущий и говорящий замечательные проповеди. Это был первый священник, которому я сознательно исповедовалась. Благодарение Богу – он понял мою беспомощность и неумелость, и принял мою исповедь, и отпустил грехи, и причастил. Я вышла из храма с чувством исполненного тяжелого долга, но Непомнящий сказал, что я должна ходить на причастие каждый месяц, и я не могла ослушаться. Через месяц я снова была у отца Вячеслава. На третий или четвертый раз он, видя мое полное неведение духовных вопросов, предложил взять у него духовные книги. Это был самоотверженный поступок, так как в те времена он мог за это поплатиться местом службы. И то уж было чудо, что его терпели здесь, в этом храме в центре Москвы. Правда, терпели до поры. Вскоре умер прежний настоятель отец Николай, любивший отца Вячеслава. И вслед за этим его без предупреждений выгнали с Обыденки, так что он некоторое время не имел места служения. Придя однажды в воскресенье на службу, я не обнаружила отца Вячеслава, к которому успела привязаться, привыкнуть, полюбить его, как привязываются только к священнику, которому доверяют душу. Я плакала и чувствовала себя брошенной и одинокой. Но Господь был ко мне милостив, и вскоре отец Вячеслав объявился в Серпухове под Москвой. Я узнала его домашний телефон, позвонила, и он разрешил мне приехать на службу в Серпухов. На вопрос, как там найти церковь, он коротко ответил: «Там одна».

Это было на Успение. Я встала почти ночью, чтобы к службе добраться до Серпухова. На Серпуховском вокзале никто не знал, как доехать до церкви, и я села в первый попавшийся автобус – мне сказали, что, кажется, он идет до церкви, но проехала остановку, сошла в неизвестном месте и очень долго ждала нужного автобуса. Приехала я к середине службы, но все-таки отец Вячеслав разрешил мне причаститься, и я была вдвойне счастлива еще и тем, что он предложил ехать с ним обратно в Москву. Вместе – целых два часа разговора в поезде! Надо помнить, что тогда поговорить со священником вне исповеди было не так-то просто...

Года два я ездила к отцу Вячеславу в Серпухов, а потом его перевели поближе к Москве, на станцию Тарасовскую. Много радости принесла мне Тарасовка. Я любила этот храм, эту дорогу, она не была мне тяжела, проехать по Москве несколько остановок на метро было иногда гораздо тяжелее.

Низкий Вам поклон, дорогой батюшка Вячеслав. Если и разошлись пути наши, не Вы тому виной, а дело в том, что у меня появился духовный отец.

И обязана я этим счастьем опять-таки Непомнящему. С некоторого времени он стал регулярно ездить в Псково-Печерский монастырь к некоему монаху, которого называл духовным отцом. Возвращался оттуда всегда радостный, на духовном подъеме, но никаких подробностей не рассказывал. Я в это время продолжала ходить к отцу Вячеславу раз в месяц, но дела мои духовные не шли. Молиться я так и не научилась, пребывала в болезнях и унынии, головная боль не проходила ни на один день. Я, конечно, жаловалась Непомнящему, и вот однажды он сказал, чтобы я ехала в Печоры к его духовному отцу-монаху. Монахов я вблизи никогда не видела. И с мирским-то священником едва умела разговаривать, а что сказать монаху?! «Я боюсь», – сказала я. «Как только увидите его, сразу перестанете бояться», – ответил Непомнящий. И вот в радостное послепасхальное время я покупаю билет до Пскова. С этого момента началась моя новая жизнь.

Сознаю свою немощь перед этим событием – встречей с батюшкой. Где мне, бедной, взять слова, передающие то, что произошло? Помогите, Господи. Укрепи слабое перо мое.

Я все помню. Как я ехала в поезде, какие были пассажиры в моем купе, как я вышла утром в Пскове и сразу же попала на отходящий в Печоры автобус, как я искала в Печорах дом, назначенный батюшкой для моего проживания, как хозяйка-монахиня сначала не хотела меня принимать, а потом сжалась и обещала вечером отвести меня к батюшке – иеромонаху Иерониму. Была суббота, вечером должна была быть всенощная, монастырская всенощная, которой я никогда не видела. Не видела я и монахов, разве только издали, в Сергиевой Лавре, когда я ездила туда туристом.

Дождливый день в Печорах тянулся долго, пока, наконец, мы с хозяйкой собрались и пошли в монастырь. Вот и Святые ворота, и Мать Божия принимает нас под Свой Покров. Я плохо помню службу до момента выхода иеромонахов на Акафист – эти черные клобуки, эти складчатые мантии, эти серьезные лица – «вот оно, воинство Христово» – было моей первой мыслью. Хозяйка указала мне отца Иеронима. Он стоял недалеко от меня, но я плохо вижу и не могла рассмотреть его лицо. Мне показалось, что у него черные горящие глаза (уже потом я заметила, что глаза батюшки меняют цвет от черного и синего до светло-голубого и прозрачного), черные волосы, черная борода.

Но как же поговорить с ним? После службы хозяйка сказала, что надо подождать – может быть, батюшка выйдет из алтаря. Встретили мы его неожиданно, на ступенях храма. Я заметила морщинки вокруг глаз и сияющую улыбку. Я спросила, можно ли мне завтра причаститься, и батюшка ответил, что если сегодня не ела скоромного, то можно.

В воскресенье нам не удалось поговорить, я видела батюшку только мельком, когда он, задыхаясь и прыгая через ступеньки, бежал за ушедшей вперед братией в трапезную. Он сказал, чтобы я приходила в понедельник после службы. Я погуляла по монастырю. В пещеры тогда пускали редко, я не знала, когда, да и никто не мог этого сказать, кроме самого наместника архимандрита Гавриила.

В понедельник после службы пришла к батюшке с мыслью, что моя программа в Печорах выполнена – я причастилась, посмотрела монастырь, купила пластинку с записями звонов Печерского монастыря, и теперь мне оставалось только поговорить и можно завтра уезжать. Не тут-то было!

Мне повезло – мы говорили с батюшкой наедине, в маленькой комнате, где обычно записывали на вечное поминовение. Я сказала несколько невнятных слов о своей трудной духовной жизни. Батюшка чего-то ждал, смотрел на меня, потом просто сказал: «Надо молиться». Этот совет меня разочаровал – молиться советовали все, а вот как это делать, если душа не молится? Во мне что-то вздрогнуло, слезы полились градом, и я начала говорить подробно о всех своих несчастьях, упомянув и о постоянном безденежье, и о ссорах с неверующей мамой, и обо всем.

Батюшка выслушал и стал, не спеша, отвечать. О, много бы я дала сейчас, чтобы вспомнить, что он говорил мне тогда, но Господь покрыл этот разговор туманом далекого воспоминания, и я не могу об этом ничего сказать. Знаю только, что благодать его молитвы пролилась на меня обильно и омыла мою окаменевшую душу, и растопила лед в сердце.

Разговор кончился. «Подожди меня здесь», – сказал батюшка и ушел куда-то на пять минут, потом вынес мне запечатанный конверт – «потом посмотришь», и велел мне остаться в Печорах еще на несколько дней. А я уж вроде все видела. Но он сказал – и я послушалась молча. Батюшка велел мне еще раз причаститься перед отъездом и тогда прийти к нему. Он благословил прочитать житие Евстафия Плакиды, читать каждый день Акафист Божией Матери, а в Москве причащаться каждое воскресенье. Все это я записала и не думала спорить. Я уже была иная. Чудо возрождения души произошло, пока он со мной говорил.

Я вышла во двор, потом на улицу и открыла данный мне конверт. Я думала, что там какая-нибудь молитва. Открыла – и была потрясена – там вместе с Казанской иконой Божией

Матери лежали пятьдесят рублей. Этот бедный монах мне подал. Мне никто и никогда не давал денег просто так, в подарок, просто потому, что я упомянула о денежных затруднениях. Слезы хлынули градом. Я ходила по городу, я не хотела идти домой и плакала, плакала. Что это за человек? Почему он принял во мне такое участие? Как он догадался, что Казанская – это «моя» икона – меня крестили на Казанскую, а когда я однажды хотела купить какую-нибудь икону, я, не зная, что это Она, выбрала опять-таки Казанскую. Ох, батюшка, родненький ты мой, за одно это моя душа уже принадлежала тебе. Слезы омыли мою душу и открыли мне глаза, и в следующие дни я поняла, что я люблю этот монастырь, люблю эти службы, эти храмы, что они – мои, часть моей жизни, моей души, и самая важная ее часть.

В этот день был праздник Преполовления Пятидесятницы, традиционное водоосвящение проходило во дворе монастыря, рядом с колодцем, до которого шел крестный ход, его красотою я наслаждалась как-то по-новому, не так, как, например, в театре или на концерте. Я впитывала в себя эти новые ощущения и любила навеки это место, такое щедрое для меня и такое ласковое. Вечером в храме батюшка читал канон на утрене (его тогда часто ставили читать, у него был сильный, звонкий голос, который со временем словно треснул, и появилась хрипотца). Я подходила к самому клиросу и вглядывалась в его лицо – что ты за человек? Что ты за чудо такое? Он уже был самым любимым человеком на свете, духовная любовь коснулась души моей, он был уже самым близким, я все ему могла рассказать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.